

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 16. Керженский дух

Сочиняя свою передовицу к “Скифам”, Иванов-Разумник, очевидно, держал в уме слова Иннокентия Анненского: “В нас еще слишком много степи, скифской любви к простору. Только на скифскую душу наслоилась тоже давняя византийская буколика с ее вертоградями, пастырями, богородицыными слезками и золочеными заставками”.

И Разумник формулирует принципиальное одиночество “скифов” — до Февраля и после, когда, казалось, “наше время настало”... “Но прошли дни — и немного дней — и... рассеялось марево этой всеобщности порыва... Снова на трибунах и на газетных столбцах уверенно заговорили... разумные, слишком разумные политики “Справедливости”... Как раньше, и больше, чем раньше, они не хотят нашей Правды... Мы снова чувствуем себя скифами, затерянными в чужой нам толпе, отслоненными от родного простора”.

Наступил Октябрь — и “скифы” снова почувствовали себя в своей стихии. По существу их мироощущение было религиозно-катастрофическим. Радость от грядущего перестроения всего бытия соседствовала с воспеванием первобытного хаоса. Но говорить о каком бы то ни было единстве взглядов не приходилось.

Из письма Иванова-Разумника Андрею Белому:

“Партии — омерзительны; фракционные раздоры и диктатура одного человека, искреннего, но недалекого, — погубили революцию. Теперь такие же люди хотят вывести из тупика — и все дальше и дальше заходят в него. Вожди “большевистские” — все то же самое политическое болото; но масса большевистская — лучшие и самоотверженнейшие люди. Я с ними провел все дни “октябрьской революции” — с 26 по 28 октября я был безвыходно в Смольном; потом через два-три в Царском массажи были кронштадцы и красногвардейцы. Как горевал я, что Вы уехали — особенно когда узнал, что творится в Москве...”

Сегодня утром я послал Вам заказную бандероль — корректуру “Котика Летаева”, об этом речь идет на следующем листе; я завернул ее в газету “Знамя Труда” от 28 окт(ября), где есть моя статья “Свое лицо”. Прочтите ее, чтобы стало ясно, почему я не с Лениным, но и не с теми, кто хочет обрушить громы на его голову...

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6 за 2010 год.

Посылаю Вам сегодня в этом письме поэму Есенина “Пришествие”, посвященную Вам. Как Вы думаете, если поместить ее в 3-ем “Скифе”? В ней есть чудесные места, некоторые я твержу уже несколько дней. И снова революция, как Крестный путь, как Голгофа... Растет мальчик (и откуда что берется); пройдя через большие страдания, быть может, и до Клюева дорастет. Кое в чем он уже теперь равен ему...

Ремизов – “Слово о гибели Русской Земли” – вещь совершенно удивительная по силе, и глубоко мне по духу враждебная. О ней – статья моя “Две России”, непосредственно за ней следующая... Мое мнение – именно в “Скифах” надо напечатать то великолепное “Слово”, глубоко *реакционное* не по внешности, а по глубокой внутренней сущности. З. Н. Гиппиус отказалась напечатать это “Слово” в предполагавшейся Савинковской газете, заявляя, что “Слово” это “слишком черносотенно”...

А III “Скиф” необходимо вместе составить в Царском Селе, в декабре! Жду...” (9 ноября 1917 года).

3-й сборник “Скифы” так и не вышел. А во втором Разумник вместе со стихами Есенина, Клюева, Ганина и Орешина дал две свои статьи – “Две России” и “Поэты и революция”, а также восторженную статью Белого “Песнь Солнца” о клюевской поэме (в письме Разумнику от 4 января 1918 года Белый писал: “*Песнь Солнца*” одинаково нам обоим дорога. Н. А. Клюев... все более и более, как явление единственное, нужное, необходимое, меня волнует: ведь он – единственный народный Гений (я не пугаюсь этого слова и готов его поддерживать всеми доводами внешнего убеждения”).

“Две России” – это Россия Ремизова, противостоящая России Клюева и Есенина. И как же, в представлении Разумника, предстает “новая Россия”?

“Святая Русь” Ремизова, исконного “старовера”, лежит “об-он-пол” петровской революции, ибо лежит по ту сторону *всякой* революции. Но все-таки понимает ли он, что в своей революции Петр был в тысячи и тысячи раз более взыскующим Града Нового, чем девяносто из сотни староверов, сожигавших себя в срубах во имя “Святой Руси”?..

Два подлинных народных поэта противостоят Ремизову и присным его – и сталкиваются две России, два мира, две революции. Клюев и Есенин – каждый из них подлинно “от самых недр” России, от самых недр “Святой Руси”. Но их “Святая Русь” – не позади, а впереди; все старое до крупинки приняли они в свои души, “Рублевская Русь” дорога им не меньше, чем Ремизову, но впереди видят новое Солнце они, подлинно народные поэты. И не прогибают они, а благословляют, не приходят в отчаяние, а верят в будущее, не Ангела Зла видят в мировой революции, а Мессию грядущего дня, не ужас бессмыслицы видят вокруг, а трагедию Голгофы...

Народ-грабитель и насильник? – “воскрешенный Иисус”? Нет, не народ-грабитель, а народ-освободитель, не народ убивающий, а народ умирающий. И поистине слеп тот, кто не видит вокруг себя этого, кто не видит вокруг себя подвига и жертвы. Отвратительны на верхах политические партии, губящие революцию дрязгами, духовным грабежом народных ценностей, омерзительна в низах темная, веками вскормленная злоба, но разве злобы этой не вдесятеро больше на верхах? И разве непонятно, что *народ* в целом – ни тут, ни там, что не может душа народная быть сопричтена к разбойникам и убийцам! Пусть эту хулу на духа произносят с лютой злостью на одной стороне пропасти – не поколеблет она того, что мы видим своими глазами. Видим мы и грабеж, и насилие, и душевное падение, но видим и жертву, и подвиг, и душевное горение – видим и то и другое *на обеих сторонах* пропасти, разделившей на два стана Россию. Велика наша скорбь, негодование наше – о падении; велика наша радость, ликование наше – о горении человеческой души...

И все это – чувствуют, все это – осязают народные поэты. Радостна для них народная свобода, праведен для них народный гнев... Ибо гнев этот – начало свободы...”

И далее Разумник восторженно цитировал клюевские “Песнь Солнца” и “Красную песню”, есенинские “Пришествие” и “Отчарь” – как некий единый гимн “всемирной грядущей революции”...

Через несколько дней после выхода “Скифов” критик получил гневное есенинское послание:

“Дорогой Разумник Васильевич!

Уж очень мне понравилась с прибавлением не клюевская “Песнь Солнценосца” и хвалебные оды ей с бездарной “Красной песней”.

Штемпель Ваш “первый глубинный народный поэт”, который Вы приложили к Клюеву из достижений его “Песнь Солнценосца”, обязывает меня не появляться в третьих “Скифах”. Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышинный писк...

Клюев, за исключением “Избятных песен”, которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. Я больше его знаю, чем Вы, и знаю, что заставило написать его “прекраснейшему” и “белый свет Сережа, с Китоврасом схожий”.

То единство, которое Вы находите в нас, только кажущееся.

“Я ярвчатый стих”

и

“Приложитесь ко мне, братья”

противно моему нутру, которое хочет выплеснуться из тела и прокусить чрево небу, чтоб сдвинуть не только государя с Николая на овин, а...

Но об этом в печати говорить не принято, и я оставляю это для “лицезрения в печати”, кажется, Андрей Белый ждет уже...

В моем посвящении Клюеву я назвал его *средним* братом из чисел 109, 34 и 22. Значение среднего в “Коньке-горбунке”, да и во всех почти русских сказках —

“так и сяк”.

Поэтому я и сказал: “Он весь в резьбе молвы”, — то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель.

А я “сшибаю камнем месяц”, и черт с ним, с Серафимом Саровским, с которым он так носится, если, кроме себя и камня в колодце небес, он ничего не отражает.

Говорю Вам это не из ущемления “первенством” Солнценосца и моим “созвучно вторит”, а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклеивается из сердца самого себя птенцом...

“Числа 109, 34 и 22” — возраст Кольцова, Клюева и Есенина на 1917 год, на момент написания стихотворения “О Русь, взмахни крылами...” “Созвучно вторит” — слова из злополучной разумниковской статьи “Две России”, которая не пришлась Есенину по душе поистине “не из ущемления” клюевским “первенством”.

Самому Клюеву разумниковские слова, что Петр был более “взыскующим Града Нового”, чем старoverы, сжигавшие себя в срубках, должны были стать поперек горла... В “Песни Солнценосца” оживает вся мировая архаика — от Назарета до Садко, которому Клюев и вкладывает в уста слова: “Я — песноводный жених, русский ярвчатый стих”. Это поэтическое воплощение мечты Николая Федорова о всенародном, всеславянском храме, ибо “славянскому племени принадлежит раскрытие мысли о всеобщем соединении и приятие ея как руководства, как плана, проекта деятельности, жизни”, поскольку — **нет вражды вечной, устранение же вражды временной составляет нашу задачу**. России остается на выбор: 1) или примирить Европу и Азию, Запад и Восток (ближний и дальний) и примирить не теоретически только, как это сделал Константинополь, но и практически, устраняя причины к раздору; 2) или же самой разложиться на Азию и Европу. Даже и замечено уже было, что народ в России уйдет в раскол, а верхние слои обратятся в католическое суеверие или в протестантское неверие”.

В “Песни Солнценосца” свершается даже не примирение — соединение, и — не только сторон света, но Бездны с Zenитом.

У Есенина же, после “Преображения”, где россияне — “ловцы вселенной” — старая вселенная в “Инонии” рушится и исчезает без следа. Может быть, он вспоминал читанное ему некогда Клюевым:

*Наша земля — голова великана,
Мы же — зверушки в трущобах волос,
Горы — короста, лишай — океаны,
В вечность уходит хозяина нос.*

*В перхоть мы прячем червивые гробы,
Костные скрепы сверлом берем.
Сбудется притча: Титан огнелобый
Нам погрозится перстом громовым.*

*Коготь державный косицы почешет —
Хрустнут Европа, безбрежный Китай...
В гибели внуков ничто не утешит
Светлого Деда, взрастившего рай.*

И о каком “храме”, о каком воскрешении архаики, о каком, недавно же-
лаемом новом пришествии Христа может идти речь, когда “иное пришествие,
где не пляшет над правдой смерть”, несет с собой вселенскую катастрофу,
совершаемую с участием самого поэта, что сам становится подобием — нет,
не “огнелобого Титана”, а карающего архангела.

*Я сегодня рукой упруго
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.
.....
До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук...
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И, под бури и вихря плач,
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как золотой калач.
И в провал, осененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.
И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатясь, всколыхнут миры.*

Это уже не “светлый гость” “Преображения”, что сходит на землю “из рас-
пятого терпенья вынуть выржавленный гвоздь”... Создается новое мирозда-
ние после наступившего апокалипсиса — и в этом мироздании нет места ни
распятию, ни воскресению, ни евхаристии, ни причастию. “Связь со старым
миром порвана”, — объяснял Есенин. Не с миром — со старым мирозданием.
В есенинской “Инонии” то, что было кощунством в старой системе коорди-
нат — уже не кощунство. “Тело, Христово тело выплевываю изо рта... Даже
Богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов... Языком вылижу на иконах я
лики мучеников и святых... Проклинаю тебя я, Радонеж, твои пятки и все сле-
ды!.. Ныне ж бури воловым голосом я кричу, сняв с Христа штаны...” Эти
всесокрушающие удары в сакральные точки православного мировоззрения
объяснимы при обращении к пророку Иеремии, которому посвящена “Ино-
ния”: “Так говорит Господь: вот, идет народ от страны северной, и народ ве-
ликий поднимается от краев земли; держат в руках лук и копье; они жестоки
и немилосердны, голос их шумит, как море; и несутся на конях, выстроены.
Как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона...” “Дочь Сиона” по-
жрана катаклизмом, вызванным не всадниками, а новым “пророком — Есени-
ным Сергеем”... Нет ни Московии, ни Америки, “ибо прежние небо и пре-
жние земля миновали” — и когда на очищенной новой земле рождается “Ино-
ния с золотыми шапками гор” — заново звучит с “золотых шапок”: “Радуйся,
Сионе... Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человецех благоволе-
ние...” Обретение после отречения — словно отвечает эта “песня с гор” клю-
евскому Садко “Песни Солнценосца”.

3 января 1918 года Есенин навестил Блока. В этот день Блок делает примечательную запись: “На улицах плакаты: все на улицу 5 января (под расстрел?)” Да, именно под расстрел пошли немногочисленные защитники разогнанного Учредительного собрания. “К вечеру – ураган (неизменный спутник переворотов). – Весь вечер у меня Есенин”.

Есенин читал еще не законченную “Инонию”. Блок подмечал в его внешнем облике проявившееся сходство с Андреем Белым (тот заражал своей порывистой манерой разговора – и Есенин на какое-то время перенял ее). Внимательно слушал, потом задавал вопросы. Есенин – объяснял.

– Я не кощунствую. Я не хочу страдания, смирения, сораспятия.

Последнее слово возвращало к “Посланию к Галатам” святого апостола Павла, часто цитируемому Клюевым: “Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но во мне живет Христос”.

– Вы – западник, – бросал Есенин Блоку. – Но между нами нет щита, я его не чувствую. И революция должна снять все щиты.

Цепляя на себя клюевскую маску – называясь выходцем из богатой старообрядческой семьи (что не имело никакого отношения к реальности) – связывал старообрядчество с хлыстовством и тут же резко отстранялся от Клюева.

“Клюев – черносотенный (как Ремизов), – записал Блок есенинские слова. – Это не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово – не предмет и не дерево; это – другая природа: тут общими силами выяснили”.

Это “черносотенный” парадоксально совпало с Гиппиусихиной характеристикой Ремизова, но Есенин вкладывал в слово, естественно, иной смысл. Не о политической реакционности шла речь, а, если угодно, о поэтической. То бишь духовной и смысловой (не только формальной). Это был и камушек в огород Разумника, для которого Ремизов – реакционер, а Клюев – солнценосец.

Блок, конечно, читал разумниковские “Две России”. Следы этого чтения прослеживаются отчетливо.

Пафос статьи Разумника, влияние есенинского чтения и долгой беседы с младшим собратом, что лишь недавно (трех лет не прошло!) приходил к Блоку, дрожа от волнения, – все отложилось в строках написанной через несколько дней “Интеллигенции и революции”.

“Дело художника, *обязанность* художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит “разорванный ветром воздух”.

Что же задумано?

Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью... Меньшее, более умеренное, более низменное – называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется *революцией*”.

И далее размышляет об этом Блок в унисон не только с есенинской “Инонией”, но и клюевской “Песнью Солнценосца”.

“Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный бурян, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невинными недостойных; но – это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот, все равно, всегда – *о великом*.”

Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет – гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны – теплый ветер и нежный запах альпийских роз; увлажнит спаленные солнцем степи юга – прохладным северным дождем.

“Мир и братство народов” – вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать”.

“Двенадцать” и стали таким напряженным трагическим вслушиванием в происходящее. И если Разумник писал о “темной веками вскормленной злобе” в низах и задавался вопросом – не больше ли ее в верхах, то для Блока природа этой злобы составляла еще больший вопрос:

*Черная злоба?
Святая злоба?*

Слабую попытку ответа обрывает патруль:

*Товарищ, гляди
В оба!*

И, наконец, главный вопрос, задаваемый Разумником с привлечением клюевской строки: “Народ, грабитель и насильник, — “воскрешенный Иисус”?. Не может душа народная быть сопричтена к разбойникам и убийцам” при том, что “видим мы и грабеж и насилие”... Блок трезво и безжалостно пишет в “Двенадцати” и грабеж, и насилие. “В зубах — сигарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз... Свобода! Свобода! Эх, эх, без креста!” Любой, взявший газетный лист с поэмой, увидел бы в этих строках забубенных каторжников. А тот же Клюев прочел бы их другими глазами — ибо “бубновые тузы” на спинах по указу Петра I почти весь XVIII век носили староверы, и только Екатерина II отменила сие императорское распоряжение... А Христос? Он — в снежной дымке, в воздухе, неуязвимый для пуль, выпущенных в него новыми “апостолами”... Вопреки финалу есенинского “Товарища”, где “пал сраженный пулей младенец Иисус”, сошедший с иконы, и которому “больше нет Воскресенья”... А у Блока — “нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди — Иисус Христос”. И этот образ — совсем уже из иного источника.

“Две самых совершенных человеческих жизни, которые встретились на моем пути, были жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина: оба они провели в тюрьме долгие годы; и первый — единственный христианский поэт после Данте, а второй — человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядет к нам из России”.

Так писал Оскар Уайльд в своей тюремной исповеди — “De Profundis”.

Несколько нитей завязывают этот непростой узел. В первую очередь в тексте поэмы бросается в глаза староверческое написание — “Иисус” — “белоснежного Христа”, кажется, впрямую заимствованного у Уайльда. Но здесь же возникает анархист князь Кропоткин, от которого по ассоциации тянется нить к другому прославленному анархисту — Михаилу Бакунину, — о нем Блок написал отдельную статью сразу после первой русской революции. О нем, о котором, по словам поэта, “можно писать сказку”.

“Искать Бога и отрицать его; быть отчаянным “нигилистом” и верить в свою деятельность так, как верили, вероятно, Александр Македонский или Наполеон; презирать все устоявшиеся порядки, начиная от государственного строя и общественных укладов и кончая крышей собственного жилища, пищей, одеждой, сном, — все это было для Бакунина не словом, а делом... Можно ли брать с Бакунина пример для жизни? Конечно, нет. Нет, по тому одному, что такие люди только рождаются. Такая необычная последовательность и гармония противоречий не даются никакими упражнениями... Займем огня у Бакунина! Только в огне расплавится скорбь, только молнией разрешится буря...”

Буря разрешается на глазах у поэта... Но при чем здесь, мнится, Бакунин? Люто враждовавший с Марксом, он в свое время отмечал, что “марксисты должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую... Они должны отвергать крестьянскую революцию уже по одному тому, что эта революция специально славянская”. Но самое главное — ни мимо Блока, ни мимо “скифов” не могли пройти слова Николая Бердяева в статье “Интернационал и единое человечество”, напечатанной в “Русской свободе” в мае 1917-го:

“... У Бакунина была идея русского революционного мессианства...”

“Большевизм” г. Ленина есть крайнее выражение этой идеи. В Григории Распутине нашла себе выражение черная хлыстовская идея. В г. Ленине и кружащихся вокруг него ярко выражена красная хлыстовская стихия... В лениновском большевизме идея... утверждается в исступленной ненависти и раздоре, в обречении на гибель большей части человечества...”

Запомним эти слова: “красная хлыстовская стихия”. Ничуть не меньшие враги Ленина, чем Бердяев, оценивали происходящее в более точных категориях.

Так, Влас Дорошевич в одном из фельетонов, напечатанных в июле 1917 года, так характеризовал Ильича:

“Ленин — это легенда семнадцатого века, капризами взвинченной фантазии перенесенная в двадцатый”.

А уже в эмиграции высланный Лениным за границу Георгий Федотов оценивал вождя в еще более глобальном контексте:

“Их (большевиков. — **С. К.**) почвой была созданная Лениным железная партия. Создание этой партии было... свидетельством о каких-то огромных — пожалуй, даже **допетровских** (выделено мной. — **С. К.**) — социальных возможностях. Вся страстная, за столетие скопившаяся политическая ненависть была сконцентрирована в один ударный механизм, бьющий... с нечеловеческой силой”.

Партия, вдохновляемая антирусской идеологией, аккумулировала силу, вдохновляемую извечной русской мечтой о земной справедливости. По сути, в революции 1917 года сложились несколько революционных потоков, не просто противоречащих, а откровенно враждебных друг другу. В этом и заключается загадка последующего мощного и трагического пути России в XX столетии.

Религиозный пафос революции был подавляющим. Он сказывался во всем — в быту, в творчестве рабочих и крестьянских поэтов, в самом всеокупающем революционным энтузиазме. Читая прессу тех лет, приходишь к неумолимому выводу: без религиозной составляющей революция была бы обречена. Это при том, что верхушка революционных вождей — закоренелых атеистов (а среди них были и чистые сатанисты вроде Якова Свердлова) — ненавидела православие лютой ненавистью.

И еще один вывод напрашивается со всей очевидностью. В своем духовном, мировоззренческом диалоге, во взаимопрियाтии и взаимоотрицании, точнее Блок, Клюев и Есенина никто, пожалуй, в те дни не проникал в суть свершающегося. Нам, неблагодарным потомкам, восхищающимся их стихами, должно быть страшно за предание забвению их заветов и прозрений, их жестоких уроков — нам, легко поверившим в то, что не было *революции*, а был всего лишь *переворот*, нам, смирившимся с жизнью, покрытой буржуазной ряской. Когда настанет черед возмездия за это — не следует посыпать голову пеплом.

* * *

16 февраля Иванов-Разумник писал Андрею Белому:

“Постоянно приходится встречаться и чувствовать духовную связь свою с самыми разными людьми. Блок и Лундберг, Есенин и Сюнненберг, Чапыгин и (судя по стихам и письмам) Клюев — люди разных кругов, разных вер, разных верований. Чувствую, что жутко было бы одному остаться лицом к лицу со всем вражеским станом; но чувствую и другое — что и тогда бы, один, не перестал бы я делать и говорить то, что делаю и говорю. Как радостно, что Вы, что Блок — на этой же стороне пропасти!”

Но даже Блок с Белым не были “на одной стороне пропасти”. В ответном письме Белый восхищался блоковскими “Скифами”, а о “Двенадцати” писал: “С ними я не согласен”.

“Скифская рать” разбрелась в разные стороны, каждый пошел своей дорогой, — остались памятником этому кратковременному содружеству два сборника, на страницах которых сошлись в горячем порыве прियाтия и отрицания революции — народ и интеллигенция.

А Клюев... Клюев поддерживает эпистолярное общение с Виктором Миролюбовым, присылает ему стихи и, конечно, знает из писем своего адресата о гневных словах Есенина (тот свое письмо писал в присутствии Миролюбова). Для Клюева, пребывавшего в крайней бедности и в очень тяжелом физическом и душевном состоянии (очевидно, у него был приступ цинги), это известие стало лишней щепоткой соли на раны, чем и объясняется горечь его тона в послании.

“Присылаю Вам, дорогой Виктор Сергеевич, три стихотворения под общим названием “Республика”. Не знаю, как они сложены, но по чувству истинны и необлужны. Если Вы найдете достойным напечатать их в “Ежем(есячном) журнале”, то вышлите за них и деньги кряду же по получении, как Вы

обещали в письме за стихотворение “Уму республика”, причем и за это последнее стихотворение уплатить заодно. Мне стыдно с вами говорить так, но я очень нуждаюсь. Мука ржаная у нас 50 руб. и 80 руб. пуд. Есть нечего и взять негде. Сам я очень слаб и болен, вся голова в коросте, шатаются зубы и гноятся десны, на ногах язвы, так что нельзя обуть валенки, в коросте лоб и щеки, так что опасно и глазам. Я очень и очень удручен, ни за что придется пропадать. Хотя при пролетарской культуре такие люди, как я, и должны погибнуть, но все-таки не думалось, что погибель будет так ужасна, — ведь у меня столько друзей с братьями, которым стоило бы один раз в неделю не сходить в “Привал комедиантов” или к любовнице, и я был бы сыт в моей болезни. Вот Есенин — так молодец, не делал губ бантиком, как я, а продался за уголь и хлеб, и будет цел и из него выйдет победителем — плюнув всем “братьям” в ясные очи”.

Судя по тону и содержанию — Клюев уже не сдерживался, может быть, и понимая в глубине души, что никому Есенин не “продавался”, но получить удар от своего “жавороночка” — ни с чем не сравнимая боль... И все же — проходит немного времени, Иванов-Разумник умасливает “Сереженьку”, объясняя ему — насколько тот не прав в оценке клюевских революционных гимнов. И Есенин оттаивает. Уже следующее стихотворение, где он воспевает “щедрость наставников моих”, где “звездой нам пел в тумане разумниковский лик” и “апостол нежный Клюев нас на руках носил” — говорит о том, что добро не забыто, даром что “теперь мы стали зрелей и весом тяжелей”... Уже написана статья “Отчее слово” о “Котике Летаеве” Белого, где финал “Песни Солнценосца” цитируется в абсолютно доброжелательном контексте. Наконец, в феврале выходит тот самый коллективный сборник, о котором Есенин писал Ширяевцу — “Красный звон” с циклом поэм Есенина “Стихослов”, с подборками стихов Клюева, Ширяевца и Орешина. Уже известная нам Зоя Бухарова под характерным псевдонимом “Фома Верный” писала в “Знамени труда”: “Красный звон” должен найти самое широкое сочувствие и распространение. Будем бережно хранить его свежие, дорогие страницы от всяких темных, лукавых покушений. Будем отдыхать на них от мелочно-обывательской, жалко-трусливой болтовни. И несленными, благоуханными, невредимыми донесем эти скрижали Великой Русской Революции — до наших потомков, не удостоившихся быть благоговейными очевидцами грозного, но прекрасного мирового переворота”.

Посодействовал заочному примирению и Миролюбов, о чем известил Клюева, а Николай откликнулся сердечным письмом, где, что характерно, обозначил свою “третью правду”, свой путь в революционном взбаламученном море.

“Я не большевик и не левый революционер, дорогой Виктор Сергеевич. Тоска моя об Опоньском царстве, что на Белых Водах, о древе, под которым ждет меня мой царь и брат. Благодарение Вам за добрые слова обо мне перед Сержей, так сладостно, что мое тайное благословение, моя жажда все отдать, переселить свой дух в него, перелить в него все свои песни, вручить все свои ключи (так тяжки иногда они, и Единственный может взять их) находят отклик в других людях. Я очень болен и если не погибну, то лишь по молитвам избяной Руси и, быть может, ради “прекраснейшего из сынов крещеного царства”.

Есенин в это время работал над одним из первых вариантов “Ключей Марии” — название еще не родилось, но было уже подсказано клюевским письмом, прочитанным у Миролюбова. Трактат о поэзии, писавшийся под явным влиянием бесед с Клюевым и Белым об орнаменте и в послупудной полемике с “Жезлом Аарона”, получил имя с соответствующим примечанием: “Мария” на языке хлыстов шелапутского толка означает “душу”. При очевидной для посвященных отсылке к Клюеву, к его знанию этого потаенного мира, высвечивается и еще один смысл: Мария, не хлопотавшая, в отличие от Марфы, а благоговейно внимавшая Христу. И как примеры высшей поэзии на первых страницах приводились стихи Клюева из цикла “Земля и железо”.

* * *

Россия перешла на григорианский календарь. Был принят закон о социализации земли. Ликвидирован Святейший Синод. Наконец, Россия объявила себя вышедшей из войны, был отдан приказ “о полной демобилизации по всему фронту”.

Церковь лишалась прав юридического лица и всего имущества. В знак протеста в провинции прошли крестные ходы, некоторые из которых были расстреляны.

18 февраля немцы прекратили перемирие с Советской Россией и начали наступление на Псков и Нарву.

А через 2 дня на фоне немецкого наступления и непрекращающихся антибольшевистских выступлений в Петрограде Совнарком принял решение о переезде и переносе столицы в Москву.

Еще через 2 дня в Петрограде вводится военное положение. Немцы занимают Псков. Заключается похабный (без всяких кавычек!), но, увы, жизненно необходимый мир в Брест-Литовске. Россия практически превращается в протекторат Германии.

А в Мурманск прибывает английский крейсер “Глория” по договору с Исполкомом Мурманского совета для обеспечения безопасности города и отражения немцев на севере. В Архангельске с той же целью высаживаются французские и американские части. Начинается, по сути, ползучая оккупация страны.

10 марта советское правительство переезжает в Москву. Петербургскому периоду российской истории приходит конец.

И в это время Клюев, при получении последнего известия, пишет одно из самых своих поразительных стихотворений.

То, до чего додумались Бердяев, Дорошевич, Федотов – Клюеву было ясно изначально, но последним шагом Ленина, вдохновившим поэта – стал именно переезд в Москву. Статуса столицы лишалось детище Петра-антихриста, начинался заново московский период русской истории, прерванный 300 лет назад.

*Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в “Поморских ответах”.*

*Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный,
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.*

*Нам красная молвь по уму:
В ней пламя, цветенье сафьяна, —
То черной неволи басму
Попрала стопа Иоанна.*

*Борис — златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.*

Честно говоря, когда сплошь и рядом приходится читать о лукавости, расчетливости и гибкости Клюева, который умел “прилаживаться”, — возникает единственный вопрос: о ком речь? “Прилаживаться”, да, впрочем, весьма двусмысленно, он научится позже. А эти стихи — не носят в себе ни малейшего признака лицемерия. Так, “подлаживаясь”, не пишут. И не стоит забывать о цене, которую при вполне реальной перемене ситуации пришлось бы заплатить за эти величальные строки.

Поразительно, что это первое стихотворение в советской поэзии, посвященное Ленину, не несет на себе никаких признаков самообмана. Клюев трезв и точен. Он разговаривает с Лениным, как “посвященный от народа”, как “потомок лапландского князя, Калевалов волхвующий внук”. Он видит в Ленине то, что видела в нем забитая, замордованная черносошная Россия, которая впервые за столетия услышала: “Это — твоя страна”. Он слышит в речах Ленина то, что слышали его братья-староверы, которых Ульянов — еще не глава государства — с восторгом и интересом слушал и советовал своим со-

ратникам использовать в борьбе против самодержавия. “Красная молвь” словно входит в эти стихи с древней иконы “Спаса в Силах”, а “вихрь и гроза”, причисленные к “ангельским ликам”, отсылают к многожды читанному и известному наизусть Апокалипсису. Но...

Но — куда деть три столетия блестящего петербургского периода, когда все живущие поколения памятью и родословной принадлежат ему кровно?

*Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.*

*“Куда схоронить мертвеца”, —
Толкует удалых ватага...
Поземкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.*

*Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты...
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.*

*Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?*

“Татарско-унылые напевы” возвращают к “златоордному мурзе” — ибо других напевов у живших под Романовыми, как под золотой Ордой, пока еще нет... И живы еще Николай, Александра, их дочери и сын... Но Клюев уже зрит все наперед.

А хоронить... Хоронить ненавистную романовщину он готов вместе со всеми.

*Пусть черен дым кровавых мятежей
И рыщет оторопь во мраке, —
Уж отточены миллионы ножей
На вас, гробовые вурдалаки!*

.....
*Керенками вымощенный проселок —
Ваш лукавый искарлотский путь.
Христос отдохнет от терновых иголок,
И легко вздохнет народная грудь.*

*Сгинут кровосмесители, проститутки,
Церковные кружки и барский шик,
Будут ангелы срывать незабудки
С луговин, где был лагерь пик.*

“Кровосмесители” и “церковные кружки” явственно напоминают о “Башне” Вячеслава Иванова, сожительствовавшего с падчерицей, и о “Религиозно-философских собраниях”, суть которых беспощадно обнажил Блок. Но главное — дальше, а дальше — призыв “русским юношам, девушкам”:

*В львиную красную веру креститесь,
В гибели славьте невесту-Россию!*

Так впервые в “революционном” цикле появляется образ льва. На колоннах “Львиной капители” в долине Ганга львы, спящие с полуразверстыми лапами, символизируют Север. Но неизбежно возвращение еще к одному смыслу — к смыслу подвига мучеников-христиан, травимых львами в римском Колизее. Те — славили Христа. Этим — новым мученикам — славить “невесту-Россию”... И отвечать злом на зло, презрев христианскую заповедь:

*Жильцы гробов, проснитесь! Близок Страшный суд
И Ангел-истребитель стоит у порога!
Ваши черные белогвардейцы умрут
За оплевание Красного Бога.*

.....
*За то, что гвоздиные раны России
Они посыпают толченым стеклом.
Шипят по соборам кутейные зми,
Молясь шепотком за Романовский дом,*

*За то, чтобы снова чумазый Распутин
Плясал на иконах и в чашу плевал...*

Ясно, что это не Распутин, никогда в жизни не плясавший на иконах, а его отложившаяся в памяти газетная карикатура... Но вспомним бердяевское противопоставление “распутинской черной хлыстовской идеи” и ленинской “красной хлыстовской стихии”... Русский обыватель, читая подобное, мог бы только, перекрестившись, произнести про себя: “Хрен редьки не слаще”... Но Клюеву “красное хлыстовство” – слаще. И еще как слаще!

*Хвала пулемету, несытому кровью
Битюжьей породы, батистовых туш!..
Трубят серафимы над буйною новью,
Где зреет посев струннопламенных душ.*

От такого многим станет не по себе... Клюев, словно ангел мести, призывает к умерщвлению “битюжьей породы”, дабы на месте, пропитанном кровью, вызрел новый посев под серафимовы трубы. Он уже ощущает себя “право имеющим”, проповедником от новой земли, парадоксально перекликаясь с “пророком Есениным Сергеем”.

*Я — посвященный от народа,
На мне великая печать,
И на чело свое природа
Мою прияла благодать.*

.....
*Пусть кладенечные изломы
Врагов, как молния, разят, —
Есть на Руси живые дремы —
Невозмутимый светлый сад.*

*Он в вербной слезке, в думе бабьей,
В Божьявленье наяву,
И в дуде ветра об арабе,
Прозревшим Звездную Москву.*

Тоже своеобразная “Инония”.

Это революция явно не по Марксу. И не по Ленину – хотя клюевские скрытые поучения вождю еще впереди. Пока лишь обрисован идеальный образ – пример того, кто обязан стоять во главе новой России... Инония еще раз отразится в клюевских стихах – в небольшой поэме “Медный кит”, уже пронизанной тревожным чувством, что такой, как Клюев, при пролетарской культуре “должен погибнуть”.

“Газеты пищат, что грядет Пролеткульт”, – а для этой жуткой организации деревенская изба – смертельный враг. Тревожные образы наплывают друг на друга и, кажется, в пределах небольшого стихотворного пространства радость успевает многократно смениться смертной горечью. “Увы! Оборвался Дивеевский гарус, // Увял Серафима Саровского крин...” Словно есенинский ураган-торнадо смел с лица земли все драгоценное для Николая – и эту жертву надо принести, хотя совсем не есенинская “Инония” встает перед глазами:

*Глядите в глубинность, там рощи-смарагды,
Из ясписа даль, избяные коньки, —*

*То новая Русь — совладелица ада,
Где скованы дьявол и Ангел Тоски.*

Узреть эту Русь можно, лишь потеряв прежнюю, и если есенинский Исус сходил с иконы для борьбы “за равенство, за труд”, то клюевские святые покидают доличное письмо не по своей воле.

*Всепетая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать,
И с псковской Ольгой за желтые боны
Усатым мадьярам себя продавать.*

.....
*Погибла Россия — с опарой макитра,
Черница- Калуга, перинный Устюг!
И новый Рублев, океаны — палитра,
Над ликом возводит стоярусный круг —*

*То символы тверди плененной и сотой
(Девятое небо пошло на плакат).
По горным проселкам крылатою ротой
Спешат серафимы в святой Петроград.*

Умирает Россия-мать, чтобы родилась невеста-Россия, которую будут “в гибели славить” юноши и девушки и встречать “соленым словом” матросы, правящие свою обедню на Марсовом поле, где хоронили убитых городских и застреленных ими бандитов и мародеров — всех, как “героев революции”... И это — прозревает Клюев — “путь к Солнцу во Славе и Духе”.

А что до “звездной Москвы”...

Пятиконечная пламенеющая звезда издавна считается масонским символом — символом микрокосма, позаимствованным у древних римлян — в их мифологии бог войны Марс вырос из красно-оранжевого пятиконечного цветка лилии. Она была утверждена еще в апреле 1917 года масонским Временным правительством в военно-морской кокарде. А в Красной Армии введена в качестве символа по предложению Троцкого, причем поначалу была перевернута вверх ногами — двумя лучами вверх — и символизировала знак антихриста, но почти сразу введена в изначальное правильное положение.

Но Клюев знал о красной звезде и другое. У русских язычников это был знак весеннего бога Ярилы, а у саамов Лапландии — оберегом, охраняющим оленей. Его чрезвычайно почитали охотники-карелы — при встрече зимой с медведем охотник рисовал на снегу три пятиконечные звезды перед собой — и считалось, что медведь не может эту линию переступить.

Не было у Николая и не могло быть изначальной неприязни этого символа. Но чем больше посещали его сомнения в том — е г о ли эта революция и т а ли она, о какой он мечтал, — как волей-неволей возвращался к “общепринятому” значению знака в его смертельной для русского человека интерпретации.

*Не диво в батрацкой атласная дама,
Алмазный король за навозной арбой,
И в кузнице розы... Печатью Хирама
Отмечена Русь звездоглазой судьбой.*

*Нам Красная Гибель соткала покровы...
Слезинка России застынет луной,
Чтоб невод ресниц на улов осетровый
Закинуть к скамье с поцелуйной четой.*

Его еще не посещают мысли о грехе и покаянии. Но жуткие видения уже мелькают перед глазами.

...12 марта скончался Алексей Тимофеевич Клюев. После похорон отца Николай покинул деревню и уехал на постоянное жительство в Вытегру. С этим городом он почти неразрывно будет связан ближайшие 5 лет.

(Продолжение следует)